



Николай Норд

# ЯДОВИТЫЙ РИНГ

КНИГА, РАЗРЫВАЮЩАЯ ШАБЛОНЫ

Николай Норд

**Ядовитый ринг**

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

**Норд Н.**

Ядовитый ринг / Н. Норд — «Мультимедийное издательство Стрельбицкого»,

Главный герой, избитый шантрапой во время свидания с девушкой, принимает решение заняться боксом. Вкус приходит во время еды, и герой хочет стать Великим Чемпионом. К цели его ведет тренер - экс-чемпион, обладающий мистическими техниками, полученными им от дяди, тоже известного боксера, участника экспедиции Александра Барченко на Тибет. Сама экспедиция была организована руководителем ОГПУ Глебом Бокия, отдел которого конкурировал с германским Ананербе. Цель и русских и немцев было создание сверхчеловека...

© Норд Н.

© Мультимедийное издательство  
Стрельбицкого

# Содержание

ЧАСТЬ I	5
ВМЕСТО ПРОЛОГА:	5
ГЛАВА I	8
ГЛАВА II	18
ГЛАВА III	28
Конец ознакомительного фрагмента.	30

# **Николай Норд**

## **ЯДОВИТЫЙ РИНГ**

### **(Роман)**

#### **ЧАСТЬ I**

#### **ВОЖДЬ СЛАВЫ**

#### **ВМЕСТО ПРОЛОГА:**

#### **СМЕРТЬ НА РАССВЕТЕ**

...Еще не было семи утра, когда я в некоторой нерешительности переминался на третьем этаже дома № 4 по улице Пархоменко, перед небезызвестной мне квартирой № 56.

Меня и так бил мандраж от предстоящего сейчас убийства беспомощной старухи, задуманного мною накануне, а тут еще несносно гудела голова, глаза хотели выскочить из орбит от невесты откуда взявшейся черепной тесноты, а во рту было ощущение, будто я только что до отвала наелся железных опилок. Так много, как вчера, мне – как говорится, спортсмену и комсомольцу – глушить спиртное еще не приходилось.

Я положил дрожащую – то ли с похмелья, то ли от нервного напряжения – руку поверх пиджака и еще раз нащупал во внутреннем его кармане лежащий там в кожаном чехольчике атаме – ритуальный кинжал, который я когда-то «позаимствовал» из заброшенного склепа на Клешихинском кладбище. Наконец, отторгнув последние сомнения и отбросив остатки нерешительности, я твердо нажал на кнопку звонка. В ответ – тишина. Скорее машинально, нежели ожидая результата, я толкнул дверь, и она легко отворилась, предательски заскрипев изношенными шарнирами и оцарапав этими звуками мою спину. Однако, никто не отозвался, никто не вышел мне навстречу. Впрочем, это было объяснимо: старуха страдала глухотой.

Войдя внутрь, я огляделся. Хотя на улице солнце еще не взошло, но зарево восхода делало квартиру уже достаточно светлой, и с моего места была видна часть кухни, ванная и комнатка, где я когда-то встречался с Катрин – дверь в нее была распахнута настежь. Я осторожно, по кошачьи ступая, обошел все эти помещения, чтобы убедиться, что в них нет кого-либо из посторонних. После чего прошел за занавеску в полутемный коридор, ведущий в комнату старухи: заваленный всяким хламом, пахнувший мышами и пылью. Уже там извлек из чехла атаме и взял его за костяную рукоятку, спрятав лезвие в правом рукаве пиджака.

Осталось перейти Рубикон: сделать последний шаг, войти в комнату старой ведьмы и нанести смертельный удар кинжалом в сердце. Делать это надо было быстро и решительно – от невиданного душевного напряжения у меня стало мутиться в голове и деревенели руки. Тряхнув головой и вдохнув побольше воздуха, я стремительно ворвался в комнату – будто бросился с горы в пропасть – и остановился, как вкопанный, обескураженный представшей передо мной картиной.

Посреди комнаты, спиной ко мне, вел бой с тенью тщедушного вида – едва ли толще швабры – боксер в дорогих олимпийских перчатках. Скорее всего, подросток. Он был облачен в линялый халат пунцового шелка с капюшоном, закрывавшим голову. На халате вышита серебром эмблема спортивного общества «Трудовые резервы» – наложенные друг на друга буквы ТР внутри зубчатого колеса. Халат этот был явно не по размеру для его обладателя, он висел на нем мешком и был настолько длинен, что из-под него едва были видны вьетнамские

кеды спортсмена. Однако, это не мешало боксеру делать вполне профессиональные шаги и молотить воображаемого противника резкими, свистящими ударами, которые свидетельствовали о его высочайшем классе. А значит и о том, что это вовсе не подросток, а какой-нибудь легковес из категории «муха» или «петух».

Тем временем, боксер повернулся ко мне и замер, опустив руки. На фоне окна, из которого брезжила заря, он казался багровой тенью. Фактор засветки а также глубоко надвинутый на голову капюшон не позволяли мне разглядеть его лицо. Я только чувствовал его пристальный взгляд, словно бы сверлящий мою переносицу, от которого исходила неведомая опасность.

Я еще крепче сжал рукоятку ножа, хотя понимал, что этот мухач как боксер, несмотря на свое мастерство, для меня не слишком опасен. От неожиданности представшего явления, я не знал, что сказать и ждал первого слова от странного боксера. Но и он молчал, все так же сверля меня невидимым взглядом. Так мы простояли молча несколько секунд, как вдруг резким движением боксер сбросил с себя халат, и передо мной предстала... та самая старуха!

Она была полностью обнажена, если не считать желтой запятой слухового аппарата в правом ухе и перчаток, выглядевших нелепо прикрученными гириями на ее тонких, жилистых руках. Седые волосы старухи были гладко и плотно стянуты сзади в хвостик, делая ее голову похожей на змеиную. Тело ее, нездоровой синюшности, было чрезвычайно худым, казалось даже – изможденным, почти лишенным груди, с выступающими костями ключиц и бедер. Ноги у основания таза отстояли далеко друг от друга и образовывали меж собой приличную промежность, лобок над которой порос редкими, черными, почти прямыми волосьями.

На какое-то мгновение меня хватил столбняк – даже нож выпал из моих рук, глухо воткнувшись в паркетный пол. Но меня ошеломил не только явленный ею образ, но и то, как в этом тщедушном тельце мог сохраняться столь мощный запас энергии и силы, только что тут продемонстрированный.

– Ты пришел убить меня, мой мальчик? Что ж, я ждала тебя, – скрипуче проговорила старуха, с недоброй усмешкой вперившись в меня серыми, со стальным отливом, глазами. – Только зачем тебе, Великому Чемпиону, нож против слабой женщины? Разве ты жиган из подворотни? Ты можешь спровадить меня на тот свет одним лишь ударом своего кулака. Сделай же это как боксер в честном бою. В последнем.

Она кивком головы указала на пару новеньких боксерских перчаток без шнурков, лежащих на ближнем ко мне краешке дивана. Я же тупо смотрел на нее, не зная, как теперь поступить. И почему этот бой она назвала последним? Последним для меня или для нее? Да, я и правда одним ударом кулака мог вышибить из нее душу. Однако, тогда я мог бы попасть под подозрение ментам, а мне это надо? Ведь завтра я собрался не в тюрьму, а к Светлане.

Такие беспорядочные мысли крутились в моей голове, однако, против своей воли, я потянулся к перчаткам, не в силах противостоять стремительно нарастающему вождению, которое требовало немедленной разрядки.

– В момент моей смерти умрет и тьюлбо, мой мальчик, и тогда ты испытаешь невероятный оргазм, какого не испытывал никогда в жизни, – заговорила вновь старая ведьма, и голос ее вдруг окреп и зазвенел молодостью, а глаза запылали сумасшедшим огнем – искушающий змей из кущи страстей взирает на меня оттуда. – Ты не пожалеешь об этом. Да и я умру не просто так, я умру в потрясающем любовном экстазе! Боже, как это будет прекрасно: предстать на небеса таким вот восхитительнейшим образом! Об этом можно только мечтать, это достойно великой поэмы великого поэта! Ах, ну иди же ко мне, иди скорее, мой мальчик, я вся сгораю от страсти!

Вместо того чтобы стать в боевую стойку, сумасшедшая старуха распахнула мне свои объятия. Я схватил перчатки и натянул их на руки: перчатки сели плотно и удобно безо всяких бинтов и шнурков. Тогда и старуха встала в боевую стойку фронтально ко мне и пожирала меня жарким взглядом из-за бруствера перчаток, прижатых к ее подбородку.

Какое-то мгновение я колебался и оставался на месте – опасение того, что я делал что-то неправильное, еще сдерживало меня. И тут мне показалось, что все это происходит не наяву, просто я попал в какой-то нелепый сон прямехонько из картины параноика Босха. А во сне можно делать все что угодно, можно даже спокойно убить человека – все равно утром после пробуждения все спишется.

В этот момент в открытую форточку влетела черная летучая мышь и, противно хлопая крыльями, закружила, замельтешила над головой старухи. Это послужило мне неким сигналом, и я с прыжка, правой прямой в челюсть ринулся на нагого противника.

И снова, как и ранее в боях с Бигфутот и Теодоро Сименсоном, время как бы замедлило свой ход: мышь почти недвижно зависла над головой ведьмы, едва шевеля крыльями, в то время как мой кулак плавно поплыл к подбородку старухи. Но еще быстрее неслась ко мне ее перчатка. В моем искаженном звуковом восприятии она, распарывая воздух, ревела, как двигатель мотоцикла без глушителя, в то время как моя продвигалась со скрипучим шорохом, который заглушался и почти не был слышен из-за этого рева. Однако мысли мои продолжали работать быстро, и я с ужасом понял, что кулак старухи попадет в мой подбородок первым, и что я не успею – как бы того не желал, как бы ни старался – ни отбить ее руку своей левой, ни попросту уклониться. Вслед за этим в глазах у меня полыхнул адский огонь, после чего наступила крошечная тьма...

Когда сознание вернулось ко мне, то я обнаружил себя лежащим навзничь, и первое, что увидел, был розовый, с бахромой, китайский абажур, висящий на потолке надо мной. Внутри него, как в капкане, металась и трепыхалась, обожженная лампой, летучая мышь.

Я лежал с гудящей головой и силился понять, где нахожусь и что тут со мной произошло. В это время мышь жалобно пискнула, ее крылья безвольно сложились, и она с мягким стуком рухнула на пол. Для меня это опять послужило неким сигналом, я вспомнил все и моментально вскочил на ноги.

– Ч-чѐ-ѐр-р-т! – придушенно простонал я, увидев представшую перед моим взором картину.

На отопительной трубе в белом венчальном платье, в свадебной фате, под венком из алых роз на голове, висело безжизненное тело старухи. Шею ее обвивал золоченый шнур, какие обычно применяются для отделки мягкой мебели. Пенный язык вывалился из ее рта, а с одной из ног, с телесного цвета чулка, сморщенного на щиколотках гармошкой, из-за фатальной худобы ног, спала белая туфелька. Она валялась рядом со слуховым аппаратом и опрокинутой табуреткой. Голова ее была скособочена, видимо из-за переломанной шеи, а выпученные, еще незамутненные смертью, серые глаза, на лице в полном мейк-апе, со скорбным укором смотрели на меня, болезненно проникая мне прямо в душу. На ней, как поминальные свечи, мерцали все ее драгоценности, которые я когда-то уже видел, когда меня впервые привели сюда год назад.

И это мертвое тело, с беспомощно висящими вдоль него роковой синюшности руками в белых кружевных перчатках, еще покачивалось из стороны в сторону, словно затухающий часовой маятник.

Нос глушило одуряющим смрадом человеческих фекалий...

## ГЛАВА I

### ИЗ ДНЕВНИКА МАЙОРА ВЕРШИНИНА: ЦИНКИ ОБЕРГРУППЕНФЮРЕРА СС

Берлин. 28 апреля 1945 года. Время 19–00. Квартира представителя рейхсфюрера Гиммлера при ставке Гитлера – обергруппенфюрера СС Германа Фогеляйна.

Это фундаментальное четырехэтажное здание постройки двадцатых годов. А из-за него одного и весь прилегающий квартал был занесен нашим командованием в зону тишины и не обстреливался ни с земли, ни с воздуха. Со стороны видеть это удивительно: целехонькие, лишь слегка прикопченные, несколько домов среди дымящихся развалин. Даже стекла в квартире все на месте, разве что потрескались кое-где под воздействием постоянной дрожи и сотрясения земли от непрекращающихся, сливающихся в сплошной адский гул, взрывов бомб и снарядов. Но внутри дом мертв: нет ни электричества, ни воды, ни тепла – система электроснабжения Берлина, впрочем, как и прочие жизнеобеспечивающие коммуникации столицы Германии, разрушены до основания...

У меня еще есть час – полтора, чтобы не жечь фонарь и не привлекать лишнего внимания до наступления темноты и шифрованно записать в дневник события сегодняшнего дня, потом выспаться и утром – в Москву, на отчет к самому наркому НКВД СССР – Лаврентию Берия. Даже если со мной что-то случится, никто посторонний дневник не прочтет, шифр известен только нам двоим. Тем не менее, мне приказано выжить.

Мы в доме уже три часа, но все равно опоздали на полсутки, несмотря на все предпринятые нами усилия. Фогеляйна уже взяли эсэсовцы, посланные, видимо, по приказу Гитлера. В записке, которую он оставил в плафоне кухонной люстры, как и было условлено на этот случай, написано корявым, торопливым почерком человека, который вместо пера привык держать уздечку и плеть:

«Во дворе появились люди Мюллера. Я узнал в лицо одного из его офицеров, фамилия которого, кажется, Золлингер. Сейчас начнут ломиться в двери. Спешу сообщить последнее... Ева не согласилась бежать со мной. Но, в этот трагический для всей Германии час, я не могу оставить ее одну умирать в бетонной могиле с этим параноиком Гитлером. Поэтому я хоть и ждал вас, но не пытался скрыться от гестапо, вы могли спасти меня только вместе с ней или никак. Моя любовь к ней превышает цены моей жизни. Мы умрем в Фюрербункере вместе.

Фогеляйн

28.04.45, 6-30»

...С рассвета этого дня мы пытались пробиться к этому кирпичному, штукатуренному в серое, дому, находящемуся почти в самом центре района Шарлоттенбург.

Для осуществления операции в распоряжении моей спецгруппы «Зеро» танковый батальон из состава 3-й ударной армии и батальон пехоты 47-й армии Первого Белорусского фронта. Помимо того, лично меня и мою спецгруппу опекает команда офицеров спецназа Управления Госбезопасности НКВД, а руководит всей боевой операцией прорыва полковник НКВД Влас Слогодский. И все вместе эти боевые единицы являются лишь прикрытием для меня и тех высокопоставленных немцев, которых я должен встретить в воюющем Берлине и затем забрать с собой в Москву.

Все наши офицеры обряжены в простую солдатскую униформу без погон: каска, телогрейка, шерстяная гимнастерка, штаны и сапоги. Но под фуфайкой у каждого – бронешиты.



Все блестяще владеют приемами рукопашного боя и, практически, всеми видами оружия воюющих армий, вплоть до снайперских винтовок и трофейных панцерфаустов. Однако никто из них не знает истинной цели операции, их задача – моя личная безопасность. Через каждые три часа по рации я докладываю состояние дел в приемную Берии, и о ней в Кремле не знает никто, даже Сталин. Я боюсь, что с её завершением меня могут ликвидировать как ненужного свидетеля, поэтому для подстраховки у меня для всесильного шефа НКВД есть сюрприз, и если со мной что-либо случится не так, то вся правда об отношениях Фогеляйна и Берии станет известна Сталину и Жукову. Я уверен, что Берия догадывается об этом – не дурак, и это должно гарантировать мне жизнь...

Вся наша команда продвигалась вперед лишь второй волной после того, как основные части наших войск медленно прорывались внутрь города квартал за кварталом. Немцы сопротивляются отчаянно, по сути это было массовым самоубийством – поведение защитников Берлина можно сравнить, наверное, с японскими «камикадзе». Такое же отсутствие альтернативы – только смерть во имя фюрера, который и сам уже стоял на краю могилы.

В ряды обороняющихся Берлина встали и престарелые ветераны Первой мировой, и четырнадцатилетние мальчишки, вооруженные фаустпатронами. Солдаты регулярных войск, прежде чем сдаться, сражаются до последнего патрона, пацаны из фольксштурма плачут, но не сдаются вообще, пока их не убьют, они упорно жгут наши танки фаустпатронами и забрасывают их с разных этажей гранатами и «коктейлями Молотова». Поэтому наши танкисты не могут ехать с открытыми люками.

Пока наша боевая группа ждала своей очереди, по улицам продвигалась обычная танковая группа в сопровождении пехоты. Движение их замедлено не только из-за огня противника. Вокруг глубокие воронки, ямы, груды щебня, от разрушенных зданий и мусора, которым немцы часто присыпают неубранные трупы, и из которых дурно пахнет. И все эти препятствия приходится объезжать.

Танки взаимодействовали попарно, а пары – между собой. Танковый взвод – два тяжелых танка ИС-2 – простреливал всю улицу: один танк – правую ее сторону, другой – левую. Пара двигается уступом, друг за другом – по обеим сторонам улицы. Вторая пара идет следом за первой и поддерживает ее огнем. Пехота бежит рядом и впереди, от дома к дому, очищая этажи и подвалы от обороняющихся.

Передний танк своим крупнокалиберным зенитным пулеметом ДШК, предназначенным в первую очередь для уничтожения фаустников, зацепился за трамвайные провода и тащит за собой их и сорванные с оснований трамвайные столбы. В конце улицы ожесточенное сопротивление нашей колонне оказывают САУ Хетцер – немецкая самоходка, истребитель танков, и вкопанный в землю «Тигр».

Армады наших самолетов летели к центру Берлина и бомбили там позиции противника, такие же армады возвращались обратно – уже отбомбившиеся. Летчики Геринга к этому дню потеряли почти все свои самолеты, они не могли оказать сопротивления нашей авиации в воздухе и теперь засели в окопы и за баррикады и воюют, как простая пехота. От гула моторов, лязга гусениц и грохота взрывов трепещет земля. Вой снарядов, особенно от стоящей за нашей спиной батареи 76-ти миллиметровых пушек, канонирующих отрывистыми, резкими залпами, въедается в уши, словно буравчики, высверливая перепонки и оглушая начисто. Осколки снарядов разлетаются на десятки метров вокруг, тонко визжат рои пуль. Повсеместно полыхают пожары, но тушить некому. Хорошо, что уже второй день идет нудный, непрекращающийся дождь, он прибивает кипящее море огня, иначе этого пекла можно было бы не выдержать вообще.

Вот первый справа танк подбит. Фаустпатрон поразил боеукладку, и танк мгновенно взорвался, ничего живого в нем и возле него не осталось. Экипаж погиб мгновенно, без мучений. На его место выдвинулся танк из второй линии. Он обвешан матрасами – импровизированная

защита от фаустпатронов. Но тут же достается и ему – прилетел очередной такой патрон – и матрас разлетается в клочья, но броня цела, на ней остается лишь оплавленная вороночка – «засос ведьмы» – так называют этот след смерти танкисты. В ту же минуту из прикрывающего танка снаряд бьет по черной глазнице окна, откуда стрелял фаустник. Остаток стены дома с надписью белой краской по всему фронтому: «С нашим фюрером – к победе!» обрушивается, а стрелка ударной волной подбрасывает на несколько метров вверх, потом мертвое тело, словно тряпичная кукла, падает вниз под танковые гусеницы. По развевающемуся белому, теперь окровавленному, головному платку определяю – фаустником была женщина.

Останавливается и передний левый танк – ему разворотили гусеницы, но он боеспособен, его пушка стреляет и попадает в немецкую самоходку. Снаряд пробил броню, машина горит, огонь идет к бакам с горючим, а погасить его экипаж не в состоянии. Надо бы покинуть САУ до взрыва, попробовать успеть отбежать на безопасное расстояние, хоть и под пулями наших автоматчиков, но у раненых танкистов уже нет сил отдраить люки. И слышны крики заживо горящих людей. Их душераздирающие вопли пробиваются даже через грохот боя и доносятся до нас. Помочь им нельзя: люки закрыты изнутри, снаружи можно открыть только разрезав металл сваркой. Но кто им поможет? Не наши же, а немецких ремонтных команд нет.

Ужасна смерть танкистов в бою – что русских, что немецких. Нет, наверное, смерти страшней...

Неожиданно вспомнил, что и брат моей Анечки – Николай – был танкистом. Без вести пропал в сорок четвертом на территории Белоруссии. Жив ли он? Или погиб вот так же...

К концу боя за улиц, САУ и Тигр были уничтожены, из наших четырех танков остался только один – тот, у кого разворочены гусеницы, и который уже не мог двигаться вперед. За дело взялась пехота. Прикрываясь дымовой завесой, она внезапно возникает из клубов дыма и подчищает квартиры и подъезды домов, казематы, подвалы, соединенные между собой переходами – по ним немцы могут пробраться даже в тыл наших войск. Затем на улице появляются новые наши танки, они проходят улицу насквозь, задрав пушки, и переползают через баррикады на следующую улицу. Успеваю увидеть, как один из танков подрывается на mine...

Улица устлана телами убитых, но еще больше корчащихся в страданиях, раненых. Они немо – неслышно из-за грохота сражения – разевают почернелые, жаждущие влаги, рты, прося о помощи. Теперь к ним начинают подбираться девушки из санчасти, перевязывают на месте раны, накладывают шины на поломанные ноги, поят водой, кому-то помогают подняться и ведут в тыл, кого-то тащат на носилках.

Невдалеке от меня молоденькая санитарочка – белокурая девчушка, лет семнадцати, в берете и негнущихся, не по маленькой ноге, огромных кирзовых сапогах схватила за руку пожилого, усатого красноармейца, с совершенно черными, выгоревшими глазами, пытаясь помочь тому встать. Девчушка дергает его за кисть, и рука белым, до плеча, обрубком выскикивает из рукава его обгорелой фуфайки и остается в ее ладонях. Солдат даже не реагирует, а у девчушки отказывает нервная система, и она валится на мостовую без чувств. А к раненым немцам, боящимся даже стонать, никто не спешит, да и некому...

Бой отдаляется, и стало чуть тише, теперь можно услышать выкрики окружающих меня людей. Полковник Слогодский отдает короткий приказ, и пехотный батальон устремляется на зачистку занятого квартала, через десять или пятнадцать минут туда же неспешно поползли и танки нашей группы. Проходы между дворами загорожены бетонными плитами и стальными ежами, и танки крушат стены домов, проходят их насквозь в облаках пыли, и таким образом врываются во дворы.

Затем я, одетый, как и все в нашей группе – в бронежилетке под фуфайкой и каске из сверхпрочной брони, вместе со Слогодским, окруженный двумя десятками спецназовцев, держащих на изготовку оружие и крутящих во все стороны головами, проходим очередной двор до следующей улицы, где идет уже другой бой. И так, квартал за кварталом, мы добрались до

цели – двора, где располагалось здание, в котором находилась квартира Фогеляйна. Он должен ждать меня там...

В этот двор, с поваленными и рассыпанными по нему, словно спички, деревьями вошли наши танки, они же оцепили квартал по периметру, тут же отработала и пехота – зачищены от уцелевшего противника все окружающие дома, проверена и сама квартира. А из близлежащих квартир – сверху, снизу и боковых – выведены все, кто там еще оставался из числа мирных жителей, если их только можно было считать таковыми. В любой момент от «мирных граждан» можно было ждать очереди из спрятанного в шифоньере автомата. В самом доме и окрестных домах выставлены наши снайперы, в подъезде на всей длине лестничной клетки стоят патрули. Мне сразу же доложили – в квартире никого нет, впрочем, докладчики и не ведали, КТО тут должен был быть.

У искомого нами подъезда стоит наша ИСУ-152, урча еще не выключенным двигателем. Когда мы уже почти подошли к подъезду, вдруг, из подвала соседнего дома выпорхнул фаустпатрон и, оставляя за собой голубоватый дымный хвост, звонко лязгнул о броню нашей самоходки, полыхнув желтой огненной вспышкой.

Следом из подвала поднялся пожилой немец из фольксштурма с поднятыми руками. Он – в перепачканной военной шинели без погонов и в армейском кеппи. Из-под него грязными стручками торчат давно немытые и нечесанные седые волосы, лицо – изможденное, в пороховой копоти, со светлыми пятнами глазниц. Старик выпрямляется во весь рост, презрительно сплевывает через плечо и, заложив руки за голову, направляется в нашу сторону. Но не успел сделать и пары шагов, как относительную тишину взорвали автоматные и ружейные выстрелы. Немец еще падая, упасть был буквально разорван в клочья лавиной свинца. На этом месте остались лишь разбросанные остатки тряпья и куски мяса, залитые кровью.

Откуда он взялся? Как потом оказалось – подобрался по коллектору...

И вот стоит железная машина с наглухо задранными люками, изнутри ее сквозь броню слышен визг вращающегося умформера радиостанции. Но экипаж молчит... Не отзывается ни на стук подбежавших наших бойцов, ни по радио. В башне – маленькая, диаметром с копейку, оплавленная дырочка, – мизинец не пройдет. Концентрированный взрыв ударил по броне. Кумулятивная граната прожгла сталь, огненным вихрем ворвалась внутрь. Брызги расплавленной стали мгновенно поразили всех насмерть... Не затронуты ни боеукладка, ни баки с горючим, ни механизмы. Погибли лишь люди. А танк – живой – стоит у дома, низко опустив к земле пушку, как бы скорбя по погибшему экипажу. А людей уже нет.

Что ж, это война...

Слогодский трехэтажным матом вдруг заорал на подчиненных, и солдаты вновь бросились на зачистку домов и подвалов, а прикрывающая меня группа, тесно сомкнувшись вокруг меня, ощерившись оружием, запихивает меня в подъезд.

Зайдя в квартиру, я приказал всем покинуть помещение, и остался тут один. Квартира оказалась безлюдна – ни самого Фогеляйна, ни Евы Браун, ни шефа гестапо Генриха Мюллера. Никого из тех, кого бы я мог тут встретить. Конечно, застать здесь даже одного из этой троицы было бы неслыханной удачей. Впрочем, еще не вечер...

Я прошелся по комнатам, ища какие-нибудь зацепки, которые могли бы дать мне дополнительную информацию. Великолепная, роскошно обставленная квартира, разгромлена. Сорваны со стен и выпотрошены из золоченых рам дорогие картины, распахнуты дверцы шифоньеров и сервантов, на полу валяются шелковые платья, лисья шуба, женское белье, битая фарфоровая посуда и хрусталь, растрепанные фолианты старинных книг, и все это покрыто слоем пуха от вспоротых подушек и матрасов алькова, выполненного в стиле Людовика четырнадцатого. Сюда не попал ни один снаряд, ни одна пуля – весь этот хаос был делом рук эсэсовцев, что-то тут недавно искавших. Видимо, у них совершенно не было времени – поджимали наши, к тому же они не знали – где надо искать. Я знал.

Я прошел в небольшую комнатку с лепным потолком, из каждого угла которого немо дули в трубы белые ангелочки. В ней полумрак – окна зашторены бархатными коричневыми занавесями с золотыми шнурами. На одной из стен косо висела большая цветная фотография в бронзовой раме, на которой был запечатлен момент бегов: ипподром, кричащие люди, пестрые флаги и лошади, приближающиеся к финишу. Впереди мчался огромный вороной жеребец. Он распластался в воздухе, казалось, готовый вырваться из тонких, будто игрушечных, оглобель: вытянутая мощная шея и маленькая сухая голова, распушенный по ветру хвост. Наездник, изо всех сил натягивавший вожжи, почти лежал на качалке. Это был Герман Фогеляйн.

В глубине комнаты располагался угасший камин, у окна стоял мощный буковый канцелярский стол с разбросанными на нем бумагами. На столе три телефона. Один обычный, из черного карболита, второй с серебряными рунами СС по центру диска без номеров, третий – такой же, только вместо рун – золотой имперский орел, держащий в когтях свастику. Я понял, что телефон с рунами – прямой для связи с Гиммлером, а с золотым орлом – с Рейхсканцелярией, а ныне – с Фюрербункером Гитлера. Мелькнула шальная мысль, а что, если позвонить, может, что-то и узнаю о судьбе Германа? Посмотрел на провода – вроде целые, непорезанные и неповрежденные. Но это не было гарантией того, что линия не оборвана где-то в самом городе. И, все же, несмотря на всю невероятность и абсурдность этого звонка, я снял трубку.

– Здесь – обершарфюрер Рохус Миш! – отчетливо, будто из соседней комнаты донеслось из трубки.

– Хайль Гитлер! – поприветствовал я по-немецки личного секретаря-телефониста и телохранителя Гитлера.

Этот рослый, красивый, черноволосый парень с лицом, которое могло бы послужить образцом для ваяния «воплощенного ария» любому скульптору, был знаком мне лишь заочно, по фотографиям из материалов, ранее представленных мне для Берии Германом Фогеляйном и Генрихом Мюллером.

– Зиг хайль!

– На проводе Вольдемар Фогеляйн. Могу я поговорить с братом? – спросил я хриплым голосом, выдавая себя за простуженного, дабы не дать опознать себя на тот случай, если Миш знал Вольдемара лично.

– Извините, штандартенфюрер, но я этого сделать не могу. Ваш брат находится здесь под арестом. Больше мне ничего не известно. Хотите переговорить с группенфюрером Раттенхубером? Возможно, он знает больше.

– Нет, не стоит, обершарфюрер, я бы не хотел быть навязчивым, если дело обстоит так серьезно – до прояснения вопроса. Но я уверен, все скоро определится – мой брат чист перед фюрером и Германией, – ответил я, боясь, что Раттенхубер – шеф личной охраны фюрера, будучи лично знаком с Вольдемаром Фогеляйном, без труда раскроет меня.

– Одну минуту, герр Фогеляйн, судя по звонку, я полагаю, вы говорите из квартиры обергруппенфюрера?

– Да, обершарфюрер...

– Не могли бы вы сказать, как близко к вам подошли русские? У нас тут проблемы со связью, вот нам и приходится обзванивать городские квартиры, чтобы узнать положение дел в городе.

– Русские совсем близко, поэтому сейчас я вынужден прервать разговор. Я спускаюсь в подвал и присоединюсь к защитникам Берлина.

– До свидания, герр Фогеляйн. В Берлине мы ломаем красным хребет! – излишне бодро рявкнул Миш.

Трубку на том конце повесили, и я понял, что пока еще Фогеляйн жив, но надежды на то, что теперь его можно будет вывезти в Москву – уже нет. Тем более не удастся это сделать с Евой Браун, любовницей Гитлера. А я так на это надеялся, еще больше надеялся на это всесильный

Берия. Интересно, чего вообще хочет Берия, почему операция скрывается от Сталина? Какую игру он ведет? Впрочем, это не мое дело – один хищник пытается перегрызть глотку другому, мое дело сделать все возможное для успеха этой операции, иначе мою невесту, мою дорогую Анечку, не выпустят с Лубянки. В чем она виновата? Да ни в чем, дело состряпали. Просто Берия держит ее заложницей, чтобы я не свинтился совсем или не сдал его Сталину.

Я подошел к камину, на котором стояла бронзовая фигура вздыбленной лошади, и передвинул среднюю кочергу из паза, в котором она торчала, специальным образом – так, как это делают в автомобиле, когда включают передачу заднего хода. Камин выдвинулся вперед на скрытых полозьях, обнажив потайную нишу. Оттуда я достал три цинка из-под патронов для пистолета-пулемета «МР». Один из них был запечатан личной печатью Фогеляйна. Два других – нет.

Я открыл цинк, предназначался лично для меня. На коробке была бирочка с надписью печатными буквами: «Сержу».

Сбоку в коробке лежала, перехваченная резинкой, небольшая пачка писем – штук десять или двенадцать. Самой верхней в пачке была записка: «Моя переписка с Евой».

Также там находился «Walther P-38» – позолоченный и богато украшенный пистолет, как выяснилось потом, подарок Герману от его шефа рейхсфюрера Гиммлера. Произведен по индивидуальному заказу, серийный № 4621. Накладные щечки на рукояти пистолета сделаны из слоновой кости, с резьбой, имитирующей дубовые листья, а поверх, с обеих ее сторон, имелись вставки из чистого золота в виде имперского орла со свастикой в когтях. На левой стороне, после маркировки «P-38» и года выпуска «44», читался известный лозунг СС – «Mein Ehre heisst Treue» («Моя честь – верность»). На другой стороне выгравировано имя владельца оружия – Hermann Fegelein. Тут же лежали роскошные золотые часы «CARTIER RONDE GOLD» с тяжелым золотым браслетом. На задней крышке часов тоже шла гравированная надпись руническим курсивом «In Herrlicher Kamaradschaft» («В знак сердечной дружбы») и подпись – Н. Himmler, точнее, перенесенная на золото точная копия подписи шефа СС.

Были здесь и несколько фотографий в плотном, темном пакете для неиспользованных фотопластинок. На первой, в половину роста, изображен сам Герман Фогеляйн в черной парадной форме генерала СС, с орденской колодкой на груди и Железным крестом в вырезе воротничка. Гладко зачесанные назад темно-русые волосы, холодные серые глаза, смотрящие прямо и даже вызывающе, словно в лицо смерти, которой они не боятся. А слегка скривленный вправо рот словно насмехался над ней. На оборотной стороне, корявым почерком человека, руки которого привыкли к уздечке и плетке, а не к перу, выведено химическим карандашом:

*«Дорогому Сержу!*

*Я верю в нашу новую встречу... А ты?*

*Герман*

*27.04.45».*

На другой фотографии Герман кружится в вальсе с Евой Браун, подругой Гитлера. Она в светлом платье до самого пола, похожем на свадебное. Какого именно цвета платье – непонятно, все фотографии черно-белые. Герман снят со стороны спины, его левая рука лежит чуть ниже ее талии. На голове Евы, с правой стороны, в пышных, завитых и длинных, ниже плеч, густых волосах приколоты белая роза. Лицо Евы видно почти в полный анфас, и даже на фотографии заметен ее страстный взгляд, какой может быть только у влюбленной. На обороте надпись: «Моему Герману. Забудешь меня, порви и фотографию. Твоя Ева.

«Орлиное гнездо». Берхтесгаден.  
1944».

Еще один снимок изображал в фас Еву Браун – цветущую, белокурую, с белозубой улыбкой. Вот только светлые глаза казались грустными и выглядели неестественно на фоне летучей улыбки. Подписи на обратной стороне не было.

Последним на дне цинка лежал незапечатанный конверто просто с надписью «Сержу», и из него я достал коротенькое письмецо:

*«Дорогой Серж!*

*Если ты держишь в руках это письмо, значит, мне не удалось ни выкрасть Еву, ни уговорить ее бежать из бункера. Это также означает, что я не вернусь. Мы решили с ней или вместе жить или вместе погибнуть. Я не оставляю ее одну ни здесь на земле, ни там – в другом мире. По крайней мере, на том свете ни фюрер, ни Гретель, и никто другой помешать нам уже не смогут.*

*Дорогой Серж! Для Лаврентия Берия я подготовил документы в запечатанном цинке, там важные бумаги и микро пленки – все, что я смог собрать и почти все, что он просил. Тебе лучше их не смотреть, целей будешь. Конечно, теперь нам с Евой уже невозможно будет воспользоваться услугами Лаврентия, но пусть эти бумаги будут знаком благодарности тебе за то, что ты спас мою жизнь в сорок третьем. Для тебя лично я оставляю этот конверт с фотоснимками и дорогие мне личные вещи – пистолет и часы, подаренные мне Гиммлером, которые я всегда воспринимал не как благодарность от своего шефа, а как знак преданной службы Фатерлянду. Теперь они твои. Прими их на память.*

*Что касается еще одного цинка, то там ничего особо секретного нет, все личное, можешь посмотреть, если хочешь. Там находятся мои награды, драгоценности Евы, которые она завещала своей сестре Маргарите – моей жене, письма Гретель ко мне и еще кое-какие ценности, чтобы она могла безбедно начать жить в Новой Германии уже без меня. Тем более что она скоро должна родить, и без средств к существованию ей будет непросто. Я сомневаюсь, что наши банковские сбережения в рейхсмарках будут иметь вес, наверное, в Германии скоро будут новые деньги. Полагаю, что и наша берлинская квартира будет разграблена. Правда, в Кенигсберге на имя Гретель записан хороший двухэтажный дом и еще у нас есть приличная вилла близ Ансбаха, но уцелеют ли они?*

*Сейчас Гретель прячется в Цоссене, близ Берлина, вчера я увез ее туда. Там на Герингштрассе, 9 есть аптека. Ее хозяин – гинеколог Карл Райхенау, он обязан мне спасением от газовых камер Аушвица своей жены-еврейки. У него под аптекой скрыт хорошо укрепленный, глубоко расположенный под землей, подвал с автономным электропитанием, запасами воды, продуктов и медикаментов. Там же устроена медицинская комнатка, где есть все необходимое, чтобы принять роды. Подвал готовили мои люди. И если в городе будут разрушения, то подвал должен будет остаться неповрежденным. Там же, возможно, придется рожать и моей жене.*

*Прошу тебя, дорогой Серж, передать Гретель мою посылку, туда же я положил мое прощальное письмо для нее.*

*Что касается моей переписки с Евой, то тебе надлежит передать письма мне или Еве, если кто-либо из нас останется после этого кошмара жив. Там хранятся не только мои письма к Еве, но и ее – ко мне, которые она передала мне вскоре после того, как 9 февраля 1945 года покинула «Бергхоф» и приехала в Берлин в ставку Гитлера. Она сделала это из предосторожности, чтобы фюрер случайно не обнаружил письма. Я знаю – потом, когда все кончится, ты найдешь способ встретиться с кем-либо из нас. Если же мы оба погибнем, то,*

*прошу тебя, уничтожь нашу переписку и ни в коем случае не предавай огласке, а, тем более, в руки ваших спецслужб.*

*И последнее: если Мюллер не сможет помочь освободиться нам с Евой, то он явится на мою квартиру один, без нас, как только все закончится. Однако он покинет ставку Гитлера, не дожидаясь, когда ее возьмут русские – то есть, за сутки, а, может, всего за несколько часов до этого. Он увидит приближение конца – у него на это особый нюх. Поэтому, если Мюллер не явится сразу после захвата бункера, то тебе есть смысл подождать его у меня еще день или два. Никому другому, кроме тебя он не сдастся, ты знаешь почему – кроме тебя, о нем никто не знает и не доставит напрямую к Берли, а это будет для него означать лишь одно – конец. В этом случае он предпочтет принять яд.*

*Ну, вот, пожалуйста, и все.*

*Благодарю заранее!*

*Я не прощаюсь. Погибну я сейчас или нет, но я уверен, что мы обязательно увидимся, возможно, уже не в этом мире, но, скорее всего...*

*Твой Герман.*

*27.04.45»*

Из простого любопытства я открыл и третий цинк, предназначенный для сестры Евы Браун – фрау Маргариты Фогеляйн – жены Германа, в девичестве Браун – Гретель Браун, как ее обычно называли близкие. Об этом же свидетельствовала приклеенная к коробке бирка с короткой надписью «Гретель». В коробке была тоненькая стопочка писем – пять или шесть – наверное, что-то очень личное, что читать порядочному человеку не следует, толстая пачка фотографий в черном конверте и шкатулка с драгоценностями. Это и были безделушки Евы Браун, которые она передавала своей младшей сестре, об этом же говорила трогательная записка, подписанная самой Евой.

Тут же лежал килограммовый золотой слиток Рейхсбанка Германии, с орлом и свастикой, и три пачки американских долларов. В серебряном портсигаре, с золотым зайчиком на крышке, хранились многочисленные личные награды Фогеляйна – золотой кавзнак, серебряные знаки ранения и спортивные медали. Высшими наградами были Рыцарский крест Железного креста с дубовыми ветвями и мечами и Германский золотой крест. На тыльной стороне портсигара никакой гравировки не было, но я знал, что небольшую партию таких портсигаров изготовили в Германии для канцелярии Фюрера: ими он лично одаривал особо приближенных к нему людей за выдающиеся заслуги.

Кроме того, в цинке, обернутым в красный панбархат, оказался кинжал, похожий на старинный короткий германский меч – как символ принадлежности не просто к СС, а к ее элите. В отличие от обычных эсэсовских кинжалов, он, во-первых, подвешивался не на ремешке, а на цепочке из соединенных восьмиугольных серебряных пластинок, украшенных изображениями мертвой головы и рун. Во-вторых, вдоль средней части ножен проходила полоса с узором в виде сплетающихся свастик. Рукоятка кинжала украшалась дубовыми листьями и изображением орла со свастикой, зажатой в когтях. Черные кожаные ножны отделаны серебряной чеканкой. Я вспомнил, что похожий кинжал я когда-то видел на картине «Танец смерти» великого немецкого художника Гольбейна, жившего в эпоху Возрождения.

Был тут и билет члена НСДАП за № 1200158, билет членства в СС за № 66 680 – оба на имя Германа Фогеляйна, и какие-то вымпелы и грамоты за победы в конном спорте. В отдельной черной коробочке, с вдавленным в бархат крышечки изображением черепа, покоился тяжелый серебряный перстень с изображением мертвой головы в обрамлении дубовых листьев и древних германских зигрун. Этот перстень являлся знаком особой доблести награжденного

офицера СС. На внутренней стороне кольца находилась изящная гравированная надпись «S. Lb H. Feglein», дата вручения и факсимильная подпись: «H. Himmler». Мне было известно, что «S. Lb» означало сокращенное «Seinem lieben» – «Моему дорогому». Здесь же находился и сложенный многократно наградной лист, текст которого гласил:

*«Верному сыну Германии Герману Отто Фогеляйну.*

*Я награждаю Вас кольцом СС «Мертвая голова». Это кольцо символизирует верность фюреру, наше непреклонное послушание и наше братство и дружбу. Мертвая голова напоминает нам то, что мы должны быть всегда готовы отдать наши жизни во имя блага немецкого народа. Руны напротив мертвой головы символизируют наше славное прошлое, которое будет восстановлено через национал-социализм. Две зиг-руны символизируют аббревиатуру СС. Свастика и хагалл-руна означают нашу несгибаемую веру в неизбежную победу нашей философии. Кольцо охватывает дубовый венок, дуб – традиционное немецкое дерево. Кольцо «Мертвая голова» нельзя купить или продать. Это кольцо никогда не должно попасть в руки того, кто не имеет права держать его. Если Вы покинете ряды СС или погибнете, то кольцо должно вернуться к Рейхсфюреру СС. Незаконное приобретение или копирование кольца строго запрещено и преследуется по закону. Носите это кольцо с честью!*

*Г. Гиммлер»*

Все эти регалии, письма и прочее, я уложил обратно в цинк, а затем и сами все цинки спрятал в свой кожаный кофр, после чего немедленно отправил по радиации шифровку в приемную Берии, в которой доложил о результатах операции «Ева». Через пятнадцать минут мною был получен ответ:

*«Ставка Гитлера падет через два, от силы – три дня. С этого момента ждите пациентов еще, максимум, двое суток. Затем, с ними, или без них, возвращайтесь в Москву. Большие времени ждать не имеет смысла. За вами завтра же будет послан специальный борт на аэродром Темпельгоф и будет там вас ждать все эти дни. Отныне связь будем поддерживать раз в сутки, в десять утра ежедневно, кроме исключительных обстоятельств, касающихся объявления наших фигурантов. Из сил прикрытия, помимо личной группы спецназа, оставьте себе людей и технику по своему усмотрению. Всех остальных отдайте в распоряжение полковника Слогодского для передачи их в действующие части.*

*Беркут».*

Беркут – это личный псевдоним Берии, первые три его буквы совпадают с фамилией Лаврентия. Хотя, по сути, он птица совсем другого полета – из рода стервятников. А «пациенты» – это условное обозначение Евы Браун, Фогеляйна и Генриха Мюллера – группенфюрера СС и шефа гестапо (IV управление РСХА).

Я раздвинул плотные шторы и выглянул в окно. У подъезда стоя, прикрепленный ко мне лично «Виллис» и два ГАЗика сопровождения для группы спецназа «Зеро». Я прикинул время, которое мне утром понадобится, чтобы успеть проехать по разбитым дорогам тридцать километров до Цоссена, выполнить просьбу Фогеляйна и вернуться назад. Выходило, что не менее трех часов. Правда, я не имел права оставлять свой пост, коим была квартира Фогеляйна – а, вдруг, за время моего отсутствия появится Мюллер? Но не мог я и не выполнить последней просьбы Германа. И все же – рискну. Итак, решено: завтра, с рассветом выезжаю в Цоссен, будь, что будет!



Сквозь пыльные стекла глянул на поверженный Берлин, который знавал еще мирным. Повсюду на руинах висели красные флаги, которые под моросящим дождем казались черно-лиловыми. На фоне темнеющего неба пустыми глазницами окон смотрели на меня дымящиеся остовы зданий, мрачные и причудливые, как руины мертвого мира, словно здесь никогда не было ни цветущего города с миллионами населения, ни залитых светом улиц, ни красивых витрин, ни хорошо одетых людей.

Вдруг, само собой включилось радио, и оттуда, как ни в чем не бывало, раздалось торжественная мелодия марша: «Deutschland, Deutschland uber alles...» – «Германия, Германия превыше всего...»

## ГЛАВА II ОТВЕРЖЕННЫЙ

Я смотрел в окно и совсем не слушал учительницу. Мое место в нашем 10а классе было за последней партой, прямо у окна. Отсюда, с четвертого этажа, хорошо просматривались окрестности. Полузаброшенный школьный сад, за которым не помнится, чтобы кто-нибудь когда-нибудь ухаживал – хотя бы ученики на уроках ботаники – поросший уже взрослыми самопальными кленами и высаженными лет десять назад в ровные ряды тополями.

Деревья шуршаще мотали желтой и багровой листвой на солнечном ветерке и прощались с последним теплом, прежде чем оголиться на зиму и бесстыдно выставить на обозрение всему миру свою корявую наготу. Мертвая, опавшая листва, маленькими жухлыми и скрюченными трупиками устилала под ними землю, никем не убранная и не похороненная, словно павшая в осеннем бою миллионная армия крошечных солдат отступившего в небытие лета. В центре сада, в кольцах красного, выщербленного местами кирпича, прозябали две лысые, утрамбованные тысячами ног, клумбы, лишенные остатков цветов еще первого сентября. Территорию школы окружал частокол забора из скрепленных между собой поперечными полосами черных железных пик, межующихся с каменными башнями-тумбами. Забор этот был мрачен, как и весь наш заводской район, и казалось, что этим пикам, для полноты удручающей картины, не хватает только отрубленных голов на их остриях.

И этот вид, и эта взъерошенная, постылая осень гнетуще ложились мне на душу. Но ничего другого из окна я не увижу. Почему я жил не у синего моря? Сейчас бы я бездумно смотрел на ласкаемый белогривым прибоем берег, на белых чаек, слушал рокот волн и вдыхал солоноватый, бодрящий воздух...

– Север, ты меня слышишь, а, Север?! – голос учительницы истории – вялой, анемичной толстухи, которой не было еще и сорока, но одетой по-старушечьи в вязаную кофту и длинную черную юбку, из-под которой выглядывали бежевые, продольно рифленые чулки, неряшливо приспустившиеся в гармошку, застал меня – в очередной раз! – врасплох. – Повтори тему нашего урока.

Я встал и обреченно посмотрел на Глафиру Мусаевну, которая беззвучно шевелила черными усиками, повторяя про себя последнюю фразу – такая уж у нее была привычка. Потупившись, я перевел взгляд на ее туфли на толстой, черной подошве, вакса на которых едва скрывала белые проплешины на носках.

– Ну, что ты можешь нам сказать о Китайской культурной революции в свете, так сказать, новых указаний партии?

Глафира Мусаевна отошла от доски и села за свой стол, положив перед собой длинную указку, словно боевую винтовку, которую незамедлительно можно пустить в дело.

Кое-кто из соклассников равнодушно мельком глянул в мою сторону, уже зная, что я ничего путного не скажу, и что мне бесполезно что-то подсказывать, потому что подсказка она на то и подсказка, что подсказывает тебе тогда, когда хоть что-то знаешь, а не объясняет всю тему. Только отличница, спортсменка и комсомолка Даша Батурина откровенно повернулась ко мне всем корпусом с первой парты и с педагогической укоризной, которая пробивала насквозь даже толстые стекла ее очков, уставилась на меня. Ее черные, лоснящиеся волосы, без единого завитка, гладко зачесанные назад, придавали ей вид облитой водой змеиной головки, которая вот-вот выстрелит в тебя ядом. Ясно, на очередном комсомольском собрании Дашка будет прорабатывать меня за неуспеваемость, тянущую нас вниз в соцсоревновании за лучший класс с параллельным 10-ым «б».

– Великая Китайская культурная революция была призвана повысить общий уровень культуры китайского народа... – начал, было, выдумывать я и посмотрел на портреты Брежнева и Менделеева, висящие над классной доской.

Но ни задумчивый ученый, ни донельзя деловой вождь самой большой в мире партии, который, конечно же, был в курсе дела, ничего мне не подсказали, и я, под всеобщий смех, был прерван Глафирой Мусаевной:

– Ну да, уж куда бедным китайцам быть еще культурней, чем они есть! Надо слушать урок, а не ворон за окнами считать! Неси-ка сюда свой дневник.

– Да не люблю я этих косоглазых просто...

– Он, Глафира Мусаевна негров любит, – загоготал Гусейн – Генка Гусейнов, наш штатный классный юморист – крепыш с лицом Карандаша. – Вы его лучше про негров спросите, Север, наверное, их любит. Про Чомбе, как они там, в Африке, друг друга живьем лопают!

Класс накрыла вторая волна хохота.

– А ну-ка, тихо все! – ударила указкой по столу Глафира Мусаевна. – А ты, Север, неси, неси дневничок-то! – не отступилась от меня строгая училка.

Делать нечего, я достал из спортивной сумки дневник и понес учительнице.

...Из всего класса один только я ходил в школу со спортивной сумкой, вместо портфеля. При моем росте под метр девяносто мне было неудобно числиться школьником, и для посторонних прохожих на улице и вообще для всех тех, кто меня не знал, я не хотел им казаться. Поэтому я и школьную форму тоже не носил. Я ходил в вельветовой куртке, с замочками на грудных карманах, и обычных брюках. Мне хотелось быть похожим уже на студента или какого-нибудь спортсмена, скажем, баскетболиста.

Глафира Мусаевна с брезгливостью чеховской барышни открыла мой дневник.

– Ты бы его хоть обернул, что ли, смотри какой замызганный, – пробубнила она, посылая страницы перхотью со своей головы. – А это что такое? – вдруг с угрозой она подняла ко мне лицо, с взметнувшимися вверх широкими черными, как крылья у коршуна на взлете, бровями. – Это же порнография какая-то!

Глафира Мусаевна вынула из дневника и потрясла перед всем классом фотоснимком, который я вырезал из журнала «Америка». Его по подписке получал мой двоюродный брат Евгений, второй секретарь райкома комсомола – как номенклатурная единица, которой по статусу можно было доверить чтение сего непотребного издания. На снимке была запечатлена Мэрилин Монро из широко известного кадра фильма, где она стоит на решетке вентилятора: воздух задрал ей платье и показал ее ножки и белые трусики.

– Да не порнография это вовсе, это актриса известная – Мэрилин Монро. Недавно кино шло в нашем клубе – «В джазе только девушки», она там в главной роли.

– Нет, это не Мерина Монро никакая, это чистый разврат загнивающего капитализма! Это просто мракобесие какое-то возмутительное! – потрясала парторг фоткой. – Вам не про джаз надо смотреть, а «Молодую Гвардию»! Там у нас свои хорошие достойные девушки имеются, и одетые прилично. А эту голозадую девицу приобщим к собранию как вещдок!

– Дайте посмотреть, Глафира Мусаевна!

– Можно взглянуть?

Это вразнобой раздавались голоса наших пацанов вперемежку с хихиканьем.

– Да вы что, сдурели все, что ли? Ну-ка тихо все! А ну сейчас учителя в одних трусах будут перед вами расхаживать! Красиво это будет? – обвела строгим взглядом класс учительница.

– Это, смотря кто. Если физручка наша, Елена Васильевна, то – ништяк! – пошутил сидевший через парту от меня Боря Фридман – курчавый и чернявый очкарик. Он имел статус круглого отличника и мог себе позволить практически безнаказанно отпускать всякие едкие штучки.

– Слушай, Борис, и ты туда же! Это же просто возмутительно! – училка схватила свободной рукой указку и хлестко стукнула ею о стол. – Ты с кого пример берешь? Фильмы иностранные, девицы голые, рокэнрол, джаз. Ты знаешь, как говорят умные люди? – сегодня ты танцуешь джаз, а завтра Родину продашь! – ее голос и губы в усиках дрожали.

– Отдайте назад, Глафира Мусаевна, это частная собственность, – пытался несмело возразить ее намерениям я.

– Экий частник нашелся! Да ты какой-то буржуй, прямо-таки! Посмотри ребятам в глаза и скажи нам честно: с кем ты связался? Кто тебя надоумил с голыми непотребными девицами связываться, ведь ты еще маленький!

Класс загудел:

– Ничего себе маленький, каланча пожарная!

– Дядя Степа милиционер! Ха-ха!

Таня Милентьева, симпатичная круглолицая девчонка, с русыми волосами и зелеными, смешливыми глазами, к которой я был неравнодушен, но, по понятным причинам, скрывал это, вполголоса игриво пропела слова из популярной тогда песенки:

– Мы становимся равными с тобой лишь, когда ты сидишь на мостовой...

Я грустно оглядел класс – меня в который раз покорило чуждое стадное однообразие глазающих на меня, пока еще детских лиц. Они рассматривали меня, словно какую-то двухвостую макаку в клетке зоопарка, забившуюся там в угол, беззащитную, у которой вырвали из лапок яблочко, доставшееся ей от сердобольного посетителя, и которое она до того тихо грызла в своем дальнем прибежище железной клетки.

Исключением была, пожалуй, лишь Вика Залозная. Маленькая, большеносая, прыщавая и шароглазая, с русой косой, по-хохляцки уложенной поверх головы, одетая строго в школьную форму – коричневое платье и черный фартук поверх него, впрочем, как и все наши девчонки – она смотрела на меня с душевной скорбью, будто мне на шею надевали петлю перед повешением. Но, все равно, она была как бы не в счет. Залозная тоже была в классе изгоем.

Когда я глянул на Вику, она опустила глаза, зарумянилась и стала что-то чиркать карандашом на задней стороне обертки своей тетрадки. Белые бантики над ушами Викиной головки подрагивали от нервных росчерков ее руки. Я присмотрелся – там рисовалось сердце, пронзенное стрелой. Я почувствовал, что она, таким образом, подает мне беззвучный сигнал поддержки.

Бедная Вика! Я не мог ей ответить. Ни сейчас, ни потом. Парочка из двух изгоев вызвала бы еще большие насмешки и унижения. И тут я хотел поберечь, прежде всего, не себя, а ее.

– Все, тишина в классе! – снова хлопнула по столу указкой Глафира Мусаевна.

Она поставила мне в дневник жирную единицу и вернула его без снимка с Монро, который положила в свой черный портфель.

– Садись, Север, и хорошенько подумай, куда ты идешь, в какую жизнь – в светлый социализм или отживающий капитализм.

Под шиканье и смешки я пошел на свою заднюю парту, кто-то стрельнул из трубки мне вслед в голову скатанным бумажным шариком – я не стал оборачиваться, все равно не узнаю, кто это сделал – отвернется. Да и что толку: я в этой стае был отверженный, что я могу против коллектива?

Да пошли они все! Ничего страшного, в общем-то, не произошло, если не считать потери вырезки из журнала и предстоящей разборки на комсомольском собрании. Завтра выучу историю, даже пару глав вперед, а послезавтра, на очередном ее уроке, подниму руку и исправлю сегодняшний кол.

Глафира Мусаевна подошла к доске и стала рисовать какую-то схему по классово-партийному устройству Китайской Народной Республики. В классе обо мне забыли. Кто-то слушал, кто-то перешептывался, кто-то просто вертел головой.

Кое-кто переписывался, передавая через несколько парт друг другу записочки с вполне невинным содержанием, вроде: «Толя, может, сходим сегодня вечером в кино?» – «Ладно, давай на шесть». Но, в этом почтовом мероприятии участвовали далеко не все, а только смазливые внешне или отличники. Остальным, к вящему их неудовольствию, отводилась лишь роль почтальонов. Да и, по правде сказать, никакой необходимости в подобной переписке не было, обо всем можно было договориться на перемене. Но сама по себе возможность писать на клочках бумаги значила гораздо больше, чем просто переписка: это говорило об избранности «писателей», об их более высоком статусе, чем у остальных соклассников, и в этот круг не так-то и просто было попасть. Избранным надо было или родиться или заслужить успехами в учебе. Мне никто не писал...

– Эй, это тебе, – прервал мои размышления сидящий впереди меня Толик Масленников, он положил мне на парту записочку, скривив при этом недовольно свою конопатую рожу.

– От кого? – изумился я.

Толик только неопределенно пожал худыми плечами, кости которых проступали даже сквозь плечики пиджака, и отвернулся.

Я развернул комочек линованной тетрадной бумаги. Там, печатными буквами, аккуратным почерком было выведено: «Коля! Давай сегодня погуляем. Приходи к почте в пять часов».

Я не мог поверить своим глазам! Неужели кто-то неровно дышит ко мне? Я пробежался взглядом по девчачьим головкам, останавливаясь на каждой по несколько секунд, и лихорадочно анализируя свои предположения. Вику и еще несколько девчонок – не из «элиты» – я отмел сразу, никто от них писульки писать попросту бы не осмелился. В итоге, оставалось пять или шесть девочек, которые могли это сделать.

Теперь я поочередно и подолгу вглядывался в эти девичьи затылки, стараясь сквозь завитушки, проборы и косички, заглянуть в их потаенные мысли. Ничего не выходило. Может, кто-то проявится после урока?

Я намеренно не спеша, но едва сдерживая нетерпение, собирал тетради и учебники в сумку, вглядываясь теперь в каждую выходящую из класса девчонку. Но никто из них не обернулся, никто не подал мне никакого знака. Вряд ли, конечно, это была Таня Милентьева, она мне больше всех нравилась, да и ростом высокая – почти до подмышки мне доходит, все не такой контраст будет по сравнению с той же Викой. Но Таня – это заоблачная мечта, журавлик в небе.

Да ладно, пусть будет хоть кто-нибудь, как говорится, хоть утка под кроватью. Я буду и так счастлив, и наконец смогу где-нибудь в постороннем разговоре с пацанами ненароком, этак небрежно, бросить: «А вот моя девчонка, да она просто без ума от меня!» Ну, и все такое прочее...

Было еще только половина второго, и у меня была масса времени, чтобы подготовиться к первому моему в жизни свиданию. Тем не менее, ветер свистел у меня в ушах, когда я, окрыленный надеждой и сладким ожиданием, несясь домой.

Дома, в предвкушении скорого свидания, я ничем толком не мог заняться – ни уроками, ни чем иным. Я мотылялся по квартире, воображая себе сладкие картины будущего свидания и того, как далеко мы сможем с первого раза зайти. Может, до поцелуя дело дойдет?

Наконец, приспела пора собираться.

Я выбрал чистую белую рубашку, черные брюки, благо гладить их не надо было – мама следила в этом плане как за отцом, так и за мной, и я редко когда держал в руках утюг. Достал из коробки одеванные всего-то пару раз на праздники югославские туфли из черного сафьяна – очень дорожные, кажется, тридцатку отец за них в Москве в ГУМе отдал. Носочки желтые – стилижьи, перекупил за рубль у заводского художника – большого франта, на лацкане полосатого пиджака которого красовался не какой-нибудь там ромбик об окончании Академии художеств, а круглый значок с государственным флагом США! Пиджак надел темно-сиреневый, в

желтую крапинку – подарок двоюродного брата, из Австрии привез, куда ездил по комсомольской линии в какой-то там местный демократический союз молодежи наставлять буржуазный молодняк правильным идеям коммунизма. Надел пальто – серое, длинное, модное, с широкими плечиками-реглан – старшей сестре в Таллин, где она проживает, заказывали.

Прислала она его весной, но я его еще ни разу не надевал, чтобы не шокировать местную фуфаечную молодежь заграничным прикидом, а то бритвочкой невзначай, для науки, порезать вещь могли, чтобы не выпендривался, гнида капиталистическая.

Когда же во все это облачился, обратил внимание, что для таких широких плеч, какими стали мои в новомодном пальто, длинная моя шея выглядела тонковато, и голова из плеч торчала, словно маковая коробочка на длинном стебле. Пришлось повязаться белым шарфиком, с искоркой, чтобы исправить сей недостаток. Шарфик, правда, был женский, мамин, с девичества довоенного еще остался, но кто об этом знает? Правда, запах нафталина и каких-то духов еще хранился в нем, а это был отрицательный момент, ибо считалось неприличным парню иметь подобный душок, вот «Шипр» или «Тройной одеколон» – это куда еще ни шло.

Встал перед зеркалом, взбил на голове кок, посмотрелся – вроде ничего парнем стал, как говорится: кареглаз и чернобров, если не обращать внимания на нос а-ля Депардьё и пару прыщей на недостроенном пока еще юношеском лице. Только вот с фигурой беда, в фас посмотришь: кажется, нормальный парень в этом пальто – широкоплечий, хоть и высоченный. А в профиль – узенький какой-то, плоский, вроде, как гладильная доска. Но, в целом, если глянуть с другой точки зрения, с идеологической, то выходила внешность не местного разлива, вроде как артист московский заезжий. Или студент какой-нибудь иностранный, типа румынского. Почему румынского, а скажем не французского? Сам не знаю. Просто я о себе так подумал, когда посмотрел в окно на прохожих.

Пройтись так по центру города было бы еще ничего, нормально, даже в самый раз, там золотую молодежь поразить не просто, там местные стилиги схоже одеваются, да и заезжие с окраин в этом случае стараются не отстать, одевают все, что имеют в наличии помоднее. Ну, да ладно, разок-другой промелькнуть в таком виде по нашим рабочим кварталам еще можно – вроде как на самом деле на главный брод города – Красный проспект – вылазку делаю.

Я шел по улице Беловежской вдоль деревянного забора, по ту сторону которого располагался станкостроительный завод имени Ефремова. Узкая полоска тротуара отделяла меня от дороги, вымощенной булыжником. Иногда по ней проносились грузовики, полные звякающего в кузовах железного лома и обдувавшие меня клубами ржавой пыли. Машины слегка сбавляли передо мной свой ход, и шоферы сквозь грязные стекла осматривали меня как заморское чудо, невесту откуда забредшее в это богом забытое место.

Редкие прохожие, в основном – знакомые все лица, все одинаково серые, как из одного мышиного семейства, с некоторыми из которых мне приходилось здороваться, откровенно, не таясь, рассматривали меня, оглядывая с ног до головы и поворачивая головы, когда я проходил мимо – и потом я долго чувствовал спиной их осуждающие или недоумевающие взгляды. Школьная мелкота останавливалась, разинув рты, и когда я равнялся с ними, даже забывала кричать мне вдогонку что-нибудь оскорбительное. Попадавшие мне на пути сверстники корчили неприязненно рожи, будто в рот сыпнули им перца, и цедили сквозь зубы с завистью или презрительно что-то вроде: «Стиляга длинноногая».

В другой раз я, может быть, и обращал бы на это какое-то внимание, но сейчас мне было не до того – я шел на свое первое в жизни свидание! И сердце билось так часто и радостно, как когда-то в дошкольном детстве, когда в заливчике на мелководье я поймал руками шуку, не успевшую уйти в открытую воду вместе с отливом, и, прижимая, что было сил, трепыхавшуюся живую, скользкую игрушку, бежал показать ее родителям, сажившим невдалеке в поле картошку.

Наконец, миновав завод, школу и квартал двух-трехэтажных беленых домов рабоче-сталинского ампира, постройки конца сороковых – начала пятидесятых годов, я очутился у здания почты минуты за три до пяти вечера. Встав около высокого крыльца почтамта на углу здания, на перекрестке, я мог теперь спокойно обозревать обе улицы в разные стороны.

Этот квартал хоть и слыл донельзя рабочим, но, все же, считался уровнем повыше нашей Чукотки. Тут, на фасадной части улицы Мира, проживала заводская интеллигенция из числа ИТР, преподаватели школы и заводского техникума, работники местного клуба, воспитатели детсадов, продавцы магазинов, парикмахеры и прочий подобный люд.

Несмотря на более культурный состав местного люда, двое парней лет двадцати, оба одинаково одетые и, несмотря на разницу в росте, похожие друг на друга как огурцы с одной грядки: в узких брюках, в ботинках на каше и коричневых, в рубчик, полупальто, поинтересовались, не уступлю ли я им свое пальтецо рубликов, этак, за пятьдесят? Услышав, что у пальто даже магазинная цена целых девьяносто, сразу отцепились, даже не поинтересовавшись, а собираюсь ли я его продавать вообще. Просто назвали меня «барыгой» и, надутые собственной значимостью, потопали себе дальше.

Так я стоял, крутя головой по сторонам, вглядываясь в перспективу улиц, тщетно пытаюсь обнаружить хоть кого-нибудь из наших девчонок. Прошло уже минут десять, и я стал подозревать, что надо мной просто подшутили, отчего настроение мое потихоньку начало портиться, как прямо из дверей почты вышла Мелентьева Таня. Увидев меня, она остолбенела. Остолбенел и я. Я – от того, что совершенно не рассчитывал на встречу именно с ней, она – с вмиг застывшей улыбкой на лице – от изумления, вызванного моим сногосшибательным нарядом.

Когда же, через несколько секунд, столбняк отпустил ее, она сошла с крыльца ко мне, как ангел с облака.

– Извини, задержалась в очереди, я тут телеграмму папе в Одессу отправляла, мама попросила, он с концертом там, – сказала она в оправдание за задержку и улыбнулась тонкой черточкой губ, отчего образовались ямочки на ее щеках.

– А он кто у тебя, артист? – первое, что нашелся сказать я, ибо ничего другого мне, ошеломленному такой неожиданной встречей, в голову попросту не пришло.

– Он детской самодеятельностью руководит в нашем клубе. А ты не знал?

– Да откуда мне...

– На всесоюзный смотр поехали, – сказала она и замолчала, снова оглядывая меня с ног до головы. – Слушай, а ты у нас пижон, а я и не знала!

– Да все по-обычному, – приврал я, польщенный, – мы же только в школе видимся. Кстати, «пижон» – это в переводе с французского – «голубь».

– Ничего себе – голубь. Тут на целого павлина потянет!

Спохватившись, что сказала не совсем то, что нужно, Таня подцепила меня под руку:

– Ну, куда пойдем? Может, в клуб сходим на киношку?

Я посмотрел на афишу клуба Ефремова, громоздившегося через дорогу напротив и производившего внушительное впечатление своей монументальностью. Кажется, в конце и после войны, его строили пленные немцы. И хоть он был построен по советскому проекту, но некая незримая тень готики, которую исподтишка привнесли германцы в лепнину – горельефы, башенки и иные архитектурные украшения, незримо и мрачновато лежала на нем. С афиши улыбался задушевной улыбкой завсегдатая всех простецких компаний артист Николай Рыбников, ряженный в форму монтажника высотных конструкций.

– «Каланча». Я уже сто раз смотрел, – сказал я.

– Какая каланча?

– Ну, кино – «Каланча», там еще Рыбников играет, вон на афише.

– Сам ты каланча – «Высота»! – звонко рассмеялась Таня и, все так же держа меня под руку, повела по улице. – Я тоже раза два уже смотрела. Пойдем, просто так погуляем.

– Пойдем, давай, – согласился я, немного покоробленный ее «каланчой».

Мы пошли по тротуару под ручку в направлении, которое выбрала она. Сверху, с высоты своего роста и сбоку я украдкой рассматривал Таню. На ней был голубой фетровый берет, из-под которого на спину ложились две толстые короткие косицы. Вокруг них клубились непослушные завитушки не попавших в косы нежных русых волос. Сиреневое демисезонное, с поясом, пальто на ней было то же самое, что она носила и в школу, но вот капроновые чулочки и коричневые лаковые туфельки с крупными стразами на застежках я до того на ней никогда не видел.

К тому же, я еще в самом начале заметил, что брови у нее слегка подведены, чего раньше за ней тоже не водилось. Значит, тоже наряжалась к свиданию, тоже хотела быть краше. Это радовало и это льстило моему самолюбию.

Одно меня не устраивало – прохожие глазели на нас несколько иначе, нежели просто на меня одного ранее. И взгляды их стали более колючими, более бодливыми, что ли, и это почувствовала и Таня. Она вдруг остановилась и, подняв ко мне погрустневшее лицо, сказала:

– Надоело по улице шататься, пойдем, все-таки, в кино, посмотрим еще раз.

– Пойдем, – с радостью согласился я, и тут вспомнил, что у меня с собой не было денег.

В заднем кармане брюк у меня всегда лежала неразменная пятерка – так, на всякий случай, и когда я из нее сколько-то брал денег, то в тот же день возобновлял. Но та пятерка осталась дома в брюках, в которых я пришел из школы. Таким образом, денег у меня не было ни копейки, и ни о каком кино или мороженом не могло быть и речи. Это был серьезный промах. Но не оправдываться же теперь. Подумает – жадный. С другой стороны, неловко было бы в первую же нашу встречу пользоваться Таниными деньгами, если они и были у нее с собой вообще. Посему я с ходу придумал:

– Слушай, Таня, я тут вспомнил... тут такое дело получилось... понимаешь, отец скоро с работы придет, а он ключ не взял от квартиры, будет на лавочке около дома сидеть ждать меня.

– А ты сразу что – не знал? – разочарованно вскинула на меня Таня моментально повлажневшие глаза.

– Да знал, как не знал.

– А что же ты – в кино, в кино... И вырядился, как будто в Париж собрался на Елисейские поля. Ладно, пойду домой – вздохнув, она опустила голову, но не уходила, вода носком лакированной туфельки по асфальту.

– Ну, а как бы я тебя предупредил? Я же не знал, что это ты мне записку писала....

Это, пожалуй, звучало убедительно. Тем более что телефоны в квартирах были тогда большой редкостью, так только – у большого начальства. У нас, например, хоть отец и был замдиректора завода, и то телефона не было. А насчет Тани, то я не то что номер ее телефона не знал, но и вообще не ведал – есть ли он у нее или нет. Да я даже адреса ее не знал.

– Да ладно, не огорчайся, в другой раз сходим. А до дому я тебя провожу, еще успею.

Я и сам обрадовался тому, что нам не придется дефилировать по центральной улице, полной народа, а скроемся где-нибудь в тихих двориках. Да и вообще, я чувствовал себя неловко из-за того, что Тане со мной неловко.

– Ну, пошли, – безразлично сказала Таня и решительно зашагала вперед, не оглядываясь на меня.

Я поторопился за ней на полшага сзади. Этакое наше перемещение по улице вовсе не было похоже на совместную прогулку. Со стороны могло показаться, что мы просто куда-то спешим: судя по вымороченным лицам, скорее всего, опаздываем на похороны.

Пройдя, таким образом, пару кварталов – все дальше от моего дома – мы свернули во дворы. И уже в следующем квартале, углубленном далее внутрь от фасадной улицы, чувствовалось неухоженность второстепенного поселения, вдоль которого не проезжают машины районного начальства. Скамейки с выломанными досками и грязные, поскольку местные обитатели



предпочитали сидеть не на сиденьях, а на спинках, перевернутые урны, разноцветье битого стекла бутылок и водочных крышечек, пустые пачки папирос и разбросанные окурки, облупившаяся краска подъездных дверей, запаха гнили от помойных дощатых ящиков, рядом с которыми громоздились мусорные кучи.

Там мирно уживались давно знакомые меж собой местные вороны и голуби, облезлые коты и бездомные Шарик. Правда, помойка была поделена меж ними поэтажно и по сторонам света: птицы оккупировали верх переполненного ящика, собаки шныряли внизу, а коты были на стреме и занимали места после отъевшихся и оставивших очумелый пир Бобиков. На веревках, повязанных между столбов и деревьев, сохло тряпье: трусы – мужские и женские, майки, платья, рубахи и коврики, сработанные из лоскутных кусочков.

Рабочий люд здесь собирался вокруг некрашенных, щербатых столиков, от которых разносился окрест стук доминошных костяшек, и около которых клубились колечки папиросного дыма. Все они были одинаковы лицами: засерелыми, со стальным отблеском изработанных роботов, приданным ввевшейся в кожу металлической стружечной пылью и глянцевающей ее гарью охлаждающего масла, испаряющейся с раскаленных резцов.

Шпана играла в чик и пристенок, катала по двору шестерни на клюшках и каталась сама на самодельных деревянных самокатах с колесами из шарикоподшипников. Отдельная троица из ребят, возрастом постарше меня года на два, резалась в картишки у подъезда дальнего дома, на скамейке без спинки. Двое из них располагались на ней самой, а один сидел на корточках между ними. Рядом на земле стояла трехлитровая банка пива, из которой они поочередно отхлебывали пенную жидкость.

Здесь кое-кто с Таней здоровался, но молча, лишь кивком головы. Я понял, что это и был ее родной двор. Она, опустив голову и не поднимая глаз, по-прежнему шла впереди меня, только теперь не так быстро. Мы шли прямо к тому подъезду, где троица картежников распивала пиво. Один из играющих, тот, что сидел к нам лицом, в комбинированной курточке и серой кепке набекрень, толкнул того, что был к нам спиной. И тот обернулся.

Даже издали я почувствовал холодный укол его серых глаз, заметил, как вздулись щеки на его щеках и дернулись губы в беззвучном мате. Он встал, зло сплюнул в сторону и засунул руки в карманы плаща, затем выдвинулся вперед на пару шагов, загородив дорожку, ведущую к подъезду. Внешностью и одеждой этот малый отличался как от своих компаньонов, так и от остальных одноликих, серо и однообразно одетых, словно клиенты из одного лепрозория, местных обитателей. Он был среднего роста и крепкого телосложения. Лицо его было правильных, безупречных черт, но без красок на нем – белобровое и белореснитчатое, впрочем, как и белокрысы завитой чуб, свежей стружкой торчащий из-под надвинутой на лоб широкополой шляпы.

Этого парня можно было бы посчитать даже красивым, если бы не альбиносная бледность лица, делавшая его похожим на отполированную ветрами мертвую, пустынную кость, особенно ненормальную по сравнению с оттенявшим ее черным цветом головного убора. Одежда на нем была хоть и не модная, но вызывающая, часто присущая блатнякам, имевшим в своей среде какой-либо авторитет. Она делала его Фигурой местного разлива: распахнутый, дорогой и длинный, почти до пят, кожан, в вырезе которого виднелась белая рубаха, повязанная широким зеленым галстуком в белый горошек, а хорошо отутюженные черные брюки закрывали комбинированные туфли – мыски из черной кожи, верх же белый, с белыми же шнурками.

Таня приостановилась и обернула ко мне встревоженные глаза:

– Знаешь, Коля, тебе лучше сейчас уйти, тут мне до подъезда два шага осталось, сама дойду. Тот, что в кожане, это Князь – Толька Князев, заводила у местной шантрапы, он чужих не любит.

Я колебался: встреча с бандюгами мне ничего хорошего не сулила, к тому же их было трое, а я и драться-то не умел, так боролся немного – давно, еще в пионерлагере. Обхватывал

одной рукой низеньких собратьев за шею левой рукой, правой ногой ставил подножку – и противник повержен, пусть он даже был и покрепче меня, сказывалось серьезное преимущество в росте. Но одно дело бороться – другое драться. За свою детскую и юношескую жизнь я уже не раз схлопотал, что называется, по морде, но ни разу не ответил тем же. И не потому что так уж боялся обидчика, просто не в силах был переступить тот моральный порог, когда можно было бы ударить человека по лицу. Мне это казалось таким чудовищным! Вот и терпел...

С другой стороны, я не хотел праздновать труса перед Таней, и потому, решительно мотнув головой и взяв ее под руку, с развязным видом направился вперед, словно крылатый, к краю пропасти, через которую вел шаткий мостик, грозящий обрушиться в любой момент.

Троица загораживала нам подход к подъезду – впереди Князь, с грозной ухмылкой на лице, позади и по бокам от него – два его дружка с налипшими папиросками на презрительно растянутых, с заедами, губах. Подойдя к ним вплотную, Таня досадливо, нисколько не боясь, сказала:

– Уйди с дороги, Князь, тебе ж лучше будет, а то...

– А то что? Этому длинному петуху пожалуешься? – он с презрением плюнул мне между ног на землю, попав слюной на мои козырные туфли. – А ты вали-ка отсюда подобру-поздорову, длинный. Сегодня я добрый, не буду тебя бить!

Его дружки засмеялись. Один многозначительно переложил из кармана брюк в другой кнопь.

Таня сделала шаг в сторону, чтобы обойти шпану, но Князь вновь заступил нам дорогу.

– Я же тебе сказал, длинный, катись отсюда колбаской! – прошипел он, глядя на меня снизу вверх сузившимися глазами на искажившемся в злобной гримасе лице. – Последний раз говорю!

Я молчал, решив не отступать – будь что будет. Дай-ка пройти, фуфел! – Князь шагнул вперед, вклинившись между нами, и вдруг резко толкнул меня локтем в живот.

От неожиданности, я полетел на спину прямо в зловонную, покрытую голубиными перьями и экскрементами, лужу, образованную булькающей струйкой из-под крышки засорившегося колодца. Я упал неловко, даже внешне комично, задрав кверху ноги. Я моментально вскочил, но дело было сделано – я был обосран в прямом и переносном смысле слова с ног до головы. Горячая вода стекала с меня всего, даже за шиворот с мокрого затылка, обжигая не только тело, но и, без того сгоравшую от стыдобины душу.

Слезы горького бессилия закипели в моих глазах, и я едва сдерживался, чтобы тут же не разрыдаться в открытую. Я затравленно озирался помутневшим взором, понимая, что ничего не сделаю, ничего не предприму, чтобы исправить положение, которое, впрочем, исправить уже было и невозможно, даже если бы мог и если бы хотел...

Троица развязно гоготала, тыча в меня пальцами, Таня сочувственно смотрела, но и только. Однако это сочувствие постепенно перешло в холодное презрение. Выждав некоторое время и окончательно поняв, что от меня ждать больше нечего, она отвернулась, опустила голову и убежала в свой подъезд.

Я же, под улюлюканье и свист бандюганов и любопытные, нездорово заинтересованные взгляды местных обитателей, резко развернулся, из-за чего поскользнулся и вляпался в лужу повторно, оказавшись теперь на четвереньках, неловко поднялся снова и медленно покинул место своего позора.

Я шел шатаясь, весь вываленный в грязи и говне, ссутулившись, и горько и беззвучно плакал. Так больно, как сейчас, мне, наверное, в жизни никогда еще не было. Не физически – болела душа. Слезы катились из моих глаз крупными горошинами, оставляя жгучие, грязные потеки на щеках и оседая солоноватым привкусом во рту. Брюки, еще несколько минут назад, чистенькие и выглаженные в стрелочку, мокро липли к ногам и хлестко шлепали по щиколоткам на холодном, пронизывающем ветру. А в навощенных, парадных, туфлях – теперь

в ошметках мокрой глины и человеческих экскрементов – хлюпала вода из вонючей колодезной лужи. Вымоченная в ней же спина серого, нового пальто, тащила за собой смрад уличного туалета, распугивая прохожих и оставляя на пыльном тротуаре мокрую дорожку.

В моих пустых глазах не отображались встречные люди, не отображалось и выражение их лиц, все они теперь оставались для меня силуэтами и тенями, да они и стали таковыми на самом деле. Я не мог тогда думать, что они были живыми людьми.

– Эй, дядя, достань воробушка!

Я, чисто на автомате, приостановился и застыл в позе манекена – до меня долго доходило: кто это и что кричал. Наконец, я медленно, механически обернулся. Это глумливо наперебой галдели мне вслед какие-то пацаны, до пояса мне ростом, с рожицами, которые, как пятаки из-под одного станка, объединяла только одна, бросавшаяся в глаза, характерная деталь: недалекость, и захохотали тонкими, недоношенными голосками.

Тут что-то со звоном оборвалось внутри меня, словно лопнула какая-то важная жизненная жила, не дававшая мне доселе упасть в бездонную пропасть, слезы мгновенно высохли в моих глазах, и я пошел дальше – мне стало глубоко наплевать на всех и, в первую очередь, на самого себя. Разве я кому-то еще нужен, кем-то любим? Да и кто я такой, чтобы быть кому-то нужным, чтобы кто-то меня любил?

Смуру оглядевшись, я понял, что оказался уже около школы. До дома оставалось идти с километр, я ускорил шаги и вскоре оказался в своем квартале. Окажись здесь в подобном виде когда-либо раньше, я бы шел закоулками, опустив голову, стараясь не встречаться взглядами с прохожими. Но теперь я шел прямо, в моих глазах была пустыня с одной только дорогой в ней – ведущей домой.

## ГЛАВА III

### ДРУГ

Недалеко от дома меня остановил оклик, который, как я понял, до того прозвучал уже неоднократно:

– Колян! Постой же, Колян!

Меня сзади догонял Вовка – невысокий крепыш из параллельного 10-го «б», в сером кепи, которое он носил по-вратарски – козырьком назад, и с вечными пузырями на коленях неглаженных брюк. Он был донельзя самостоятельным и независимым от дворовой шпаны малым, бОльшей частью криминальной, поскольку имел разряд по борьбе и мог любому дать сдачи. Пацаны это знали, кое-кто силу его кулаков и борцовских приемов прочувствовал на себе, поэтому к нему не лезли, и его уважали. Он окликнул меня по имени, хотя обычно самое мягкое обращение, которое я слышал во дворе, это было: «Эй, длинный!». И это несколько удивило меня, если я еще мог удивляться в своем положении.

Вовка был симпатичным смешливым малым, крутолобым, с жесткими, густыми и вьющимися волосами, с правильным русским лицом неиспорченных северных кровей. Правда, внешность его слегка портили небольшие, серые глазки, делаая его похожим на кабанчика, который себе на уме. Впрочем, негативное отношение ко всей, без исключения, дворовой ребятне – как ответ на ее отношение ко мне – не позволяли мне отличить хороших парней от плохих, и придавали некий субъективизм оценкам их внешности.

– Что случилось-то, Колян? Тебя кто обидел? – спросил Вовка, пытливо смотря мне в глаза.

– Да нет, упал просто, – сказал я и чуть не заплакал – меня тронуло теплое отношение парня.

Оглядевшись по сторонам, я заметил еще несколько пацанов, стоящих подальше, и тоже сочувственно глазевших на меня. Сказывались корпоративные интересы двора: хоть я и был здесь изгоем, но обидели меня чужие, посему следовало меня пожалеть, может, даже как-то заступиться, отомстить обидчикам.

– Слушай, пойдем ко мне – состирнем пальто, подсушим бахилы, одежонку в порядок приведем. Куда ты к мамке такой? – сказал Вовка и настойчиво потянул меня за рукав. – Пошли, пошли, у меня дома нет никого.

Я послушался, так захотелось кому-то излить душу!

Вовка жил в однокомнатной квартире такого же двухэтажного дома, как и наш, по соседству. Еще с ним обитали в квартире мать, отчим и младший брат Толик. Вовка переехал сюда год назад и очень гордился новым жильем. Раньше они жили в шестиметровой комнатке бараке, где все удобства были на улице. Здесь он впервые узнал что такое кран, из которого свободно течет вода прямо в доме, и за коей теперь не надо было летом и в зимнюю стужу ходить с ведром на колонку. Родители его были простыми рабочими на нашем заводе, а брат попал на малолетку на два года, взяв всю вину на себя за какой-то воровской грешок старшей братвы – те уже были совершеннолетними, и им грозили сроки раза в два побольше, нежели Толику, да еще приписали бы групповуху. А Толик в том ночном происшествии стоял на стреме, заснул, то есть подвел подельников, потому его и обязали компаньоны взять всю вину на себя. Вот и отдувался по глупости за всех.

Квартира их была обставлена небогато – простой круглый, под белой скатертью стол, раскладной диван, фанерный шкаф, железная, крашенная коричневой краской кровать, стулья и табуретки. Единственной дорогой вещью был телевизор «Енисей», стоявший в углу, на тумбочке под салфеткой. Зато в доме было исключительно чисто, почти стерильно, и это несмотря на действующую печку на кухне.

Вовка настоял, чтобы я разделся полностью. Он нагрел воды на печи, топившейся углем, немного воды налил в железную оцинкованную ванну, а остальную – в поставленное рядом ведро, и заставил меня сначала вымыться самому. Мыться мне было в ванне неудобно, для меня она была мала, и я кое-как разместился в ней на коленках, но послушно выполнял все Вовкины указания. Он поливал мне из алюминиевого ковша, черпая почти что кипятки из ведра.

– Чего такой тощий – не кормят что ли? Кожа да кости, – иногда ронял он слова.

– Сам не ем, аппетита нет, – отговаривался я.

Когда закончили с помывкой, Вовка дал мне чистую простынь вытереться и прикрыть наготу, поелику даже трусы мои промокли в говняной луже, потом усадил на диван в комнате, угостил горячим чаем, а сам, поменяв воду, принялся за чистку и стирку моей одежды в той же ванне. Я с наслаждением отхлебывал горячий чаек, лишь в домашнем тепле ощутив, как продрог, и, чувствуя себя потерянно и неловко, не вмешивался в его дела.

Закончив с постирушками, Вовка развесил мою одежду на веревке прямо в квартире и включил самодельный вентилятор для ее просушки, после чего порезал на разделочной доске ливерную колбасу, хлеб, из дальнего закутка шкафа достал бутылку со спиртом, отлил немного в чашку, буркнул: «Только чуток – чтобы отчим не заметил», – и спрятал ее назад. Принес воды из-под крана в кружку, достал две рюмки, набулькал в них спирт, развел водой, получилось грамм по сто сорокоградусной.

– Ну, давай, Колян, выпьем за наше, можно сказать, близкое знакомство, заодно прогреешься. Небось, простыл. Чо тарашисься? Думаешь, я употребляю? Не, не бойсь, я же понимаю – это для мозгов вредно, – сказал Вовка, пригласив меня к столу, и, чокнувшись со мной, выпил первым.

Я тоже не имел пока пристрастия к спиртному, но из благодарности к Вовке выпил горькое дерьмо и непроизвольно затряс головой. Перекусили. Вовка густо заварил еще по одной порции грузинского брикетного чая и сказал, блаженствуя то ли от чая, то ли от разведенного спирта:

– Хорошо-то как! А ты, Колян, пей чаек, не тушуйся, мало будет, так я еще сварганю, старики мои сегодня во вторую работают. Только к полпервому ночи домой вернутся. Успеет твоя одежонка просохнуть. Ну, может, не совсем, зато домой нормальный придешь, старики твои ничего и не заподозрят. Штилеты твои я на батарею поставил. Ты, вот, давай-ка лучше расскажи, что случилось-то?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.